



ГЛАВА I

1801. Я только что вернулся от своего хозяина — единственного соседа, который будет мне здесь докучать. Место поистине прекрасное! Во всей Англии едва ли я сыскал бы уголок, так идеально удаленный от светской суеты. Совершенный рай для мизантропа! А мистер Хитклиф и я — оба мы прямо созданы для того, чтобы делить между собой уединение. Превосходный человек! Он и не представляет себе, какую теплоту я почувствовал в сердце, увидав, что его черные глаза так недоверчиво ушли под брови, когда я подъехал на коне, и что он с настороженной решимостью еще глубже засунул пальцы в жилет, когда я назвал свое имя.

— Мистер Хитклиф? — спросил я.

В ответ он молча кивнул.

— Мистер Локвуд, ваш новый жилец, сэр. Почел за честь тотчас же по приезде выразить вам свою надежду, что я не причинил вам беспокойства, так настойчиво добиваясь позволения поселиться на Мызе Скворцов: я слышал вчера, что у вас были некоторые колебания...

Его передернуло.

— Скворцы — моя собственность, сэр, — осадил он меня. — Никому не позволю причинять мне беспокойство, когда в моей власти помешать тому. Входите!

«Входите» было произнесено сквозь стиснутые зубы и прозвучало как «ступайте к черту»; да и створка ворот,

к которой он прислонился, не распахнулась в согласии с его словами. Думаю, это и склонило меня принять приглашение: я загорелся интересом к человеку, показавшемуся мне еще большим нелюдимом, чем я.

Когда он увидел, что моя лошадь честно идет грудью на барьер, он протянул наконец руку, чтобы скинуть цепь с ворот, и затем угрюмо зашагал передо мной по мощеной дороге, выкликнув, когда мы вступили во двор:

— Джозеф, прими коня у мистера Локвуда. Да принеси вина.

«Вот, значит, и вся прислуга, — подумалось мне, когда я услышал это двойное приказание. — Немудрено, что между плитами пробивается трава, а кусты живой изгороди подстригает только скот».

Джозеф оказался пожилым — нет, старым человеком, пожалуй, очень старым, хоть крепким и жилистым. «Помоги нам господь!» — проговорил он вполголоса со сварливым недовольством, пособляя мне спешиться; и хмурый взгляд, который он при этом кинул на меня, позволил милосердно предположить, что божественная помощь нужна ему, чтобы переварить обед, и что его благочестивый призыв никак не относится к моему неожиданному вторжению.

Грозовой Перевал — так именуется жилище мистера Хитклифа. Эпитет «грозовой» указывает на те атмосферные явления, от ярости которых дом, стоя на юру, нисколько не защищен в непогоду. Впрочем, здесь, на высоте, должно быть, и во всякое время изрядно прохватывает ветром. О силе норда, овевающего взгорье, можно судить по чрезмерному наклону малорослых елей подле дома и по череде чахлого терновника, ветви которого тянутся все в одну сторону, словно выпрашивая милостыню у солнца. К счастью, архитектор был предусмотрителен и строил прочно: узкие окна ушли глубоко в стену, а углы защищены большими каменными выступами.

Прежде чем переступить порог, я остановился полюбоваться гротескными барельефами, которые ваятель разбросал, не скупясь, по фасаду, насажав их особенно щедро над главной дверью, где в хаотическом сплетении облезлых грифонов и бесстыжих мальчиков я разобрал дату «1500» и имя «Гэртон Эрншо». Мне хотелось высказать кое-какие замечания и потребовать у сердитого владельца некоторых исторических разъяснений, но он остановился в дверях с таким видом, будто настаивал, чтоб я скорей вошел или же вовсе удалился, а я отнюдь не желал бы вывести его из терпения раньше, чем увижу, каков дом внутри.

Одна ступенька ввела нас прямо — без прихожей, без коридора — в общую комнату: ее здесь и зовут домом. Дом по большей части служит одновременно кухней и столовой; но на Грозовом Перевале кухне, видно, пришлось отступить в другое помещение — по крайней мере, я различал гул голосов и лязг кухонной утвари где-то за стеной; и я не обнаружил в большом очаге никаких признаков, что здесь жарят, варят или пекут; ни блеска медных кастрюль и жестяных цедилок по стенам. Впрочем, в одном углу сиял жарким светом набор огромных оловянных блюд, которые, вперемешку с серебряными кувшинами и кубками, взобрались ряд за рядом по широким дубовым полкам под самую крышу. Никакого настила под крышей не было: вся ее анатомия была доступна любопытному глазу, кроме тех мест, где ее скрывало какое-то деревянное сооружение, заваленное овсяными лепешками и увешанное окороками — говяжьими, бараньими и свиными. Над камином примостилось несколько неисправных старых ружей разных образцов да пара седельных пистолетов; и в виде украшения по выступу его были расставлены три жестяные чайницы грубой раскраски. Пол был выложен гладким белым камнем; грубо сколоченные кресла с высокими спинками покрашены были в зеленое; да еще два или

три черных, потяжелее, прятались в тени. В углублении под полками лежала большая темно-рыжая легавая сука со сворой визгливых щенят; по другим закутам притаились другие собаки.

И комната и обстановка не показались бы необычными, принадлежи они простому фермеру-северянину с упрямым лицом и дюжими лодыжками, силу которых выгодно подчеркивают его короткие штаны и гетры. Здесь в любом доме на пять-шесть миль вокруг вы увидите такого хозяина в кресле за круглым столом, перед пенящейся кружкой эля, если зайдете как раз после обеда. Но мистер Хитклиф являет странный контраст своему жилью и обиходу. По внешности он — смуглолицый цыган, по одежде и манере — джентльмен, конечно, в той мере, в какой может назваться джентльменом иной деревенский сквайр; он, пожалуй, небрежен в одежде, но не кажется неряшливым, потому что отлично сложен и держится прямо. И он угрюм. Иные, возможно, заподозрят в нем некоторую долю чванства, не вяжущегося с хорошим воспитанием; но созвучная струна во мне самом подсказывает мне, что здесь скрывается нечто совсем другое: я знаю чутьем, что сдержанность мистера Хитклифа проистекает из его несклонности обнажать свои чувства или выказывать ответное тяготение. Он и любить и ненавидеть будет скрытно и почтет за дерзость, если его самого полюбят или возненавидят. Но нет, я хватил через край: я слишком щедро его наделяю своими собственными свойствами. Быть может, совсем иные причины побуждают моего хозяина прятать руку за спину, когда ему навязываются со знакомством, — вовсе не те, что движут мною. Позвольте мне надеяться, что душевный склад мой неповторим. Моя добрая матушка, бывало, говорила, что у меня никогда не будет семейного уюта. И не далее, как этим летом, я доказал, что недостоин его.

На взморье, где я проводил жаркий месяц, судьба свела меня с самым очаровательным созданием — с де-

вицей, которая была в моих глазах истинной богиней, пока не обращала на меня никакого внимания. Я «не позволял своей любви высказаться вслух»; однако, если взгляды могут говорить, и круглый дурак догадался бы, что я по уши влюблен. Она меня наконец поняла и стала бросать мне ответные взгляды — самые нежные, какие только можно вообразить. И как же я повел себя дальше? Признаюсь со стыдом: сделался ледяным и ушел в себя, как улитка в раковину; и с каждым взглядом я делался все холоднее, все больше сторонился, пока наконец бедная неискушенная девушка не перестала верить тому, что говорили ей собственные глаза, и, смущенная, подавленная своей воображаемой ошибкой, уговорила маменьку немедленно уехать. Этим странным поворотом в своих чувствах я стяжал славу расчетливой бессердечности — сколь незаслуженную, знал лишь я один.

Я сел с краю у очага, напротив того места, которое избрал для себя мой хозяин, и, пока длилось молчание, попытался приласкать суку, которая бросила своих щенят и стала по-волчьи подбираться сзади к моим икрам: губа у нее поползла кверху, обнажив готовые впиться белые зубы. На мою ласку последовало глухое протяжное рычанье.

— Оставьте лучше собаку, — пробурчал в тон мистер Хитклиф и дал собаке пинка, предотвращая более свирепый выпад. — К баловству не приучена — не для того держим. — Затем, шагнув к боковой двери, он кликнул еще раз: — Джозеф!

Джозеф невнятно что-то бормотал в глубине погреба, но, как видно, не спешил подняться; тогда хозяин сам прыгнул к нему, оставив меня с глазу на глаз с наглой сукой и двумя грозными косматыми волкодавами, которые с нею вместе настороженно следили за каждым моим движением. Я отнюдь не желал познакомиться ближе с их клыками и сидел тихо. Но, вообразив, что они едва ли поймут бессловесные оскорбления, я взду-

мал на беду подмигивать всем троим и корчить рожи, и одна из моих гримас так обидела даму, что та вдруг взъярилась и вскинула передние лапы мне на колени. Я ее отбросил и подвинул стол, спеша загородиться от нее. Этим я всполошил всю свору: полдюжины четвероногих дьяволов всех возрастов и размеров выползли из потайных своих логовищ на середину комнаты. Я почувствовал, что мои пятки и фалды кафтана стали объектом атаки; и, отбиваясь кое-как кочергой от самых крупных противников, был принужден громко призвать на помощь кого-либо из домашних для водворения мира.

Мистер Хитклиф и его слуга поднимались по ступенькам из погреба с возмутительным хладнокровием; не думаю, чтоб они поторопились явиться хоть на секунду быстрее, хотя возня и визг у очага разбушевались вихрем. К счастью, подоспела помощь из кухни: дюжая тетка с подоткнутым подолом, засученными рукавами и раскрасневшимся от огня лицом ринулась, размахивая сковородкой, в самую гущу боя: своим оружием, а также и языком она действовала так успешно, что буря, как по волшебству, улеглась, и только у воительницы еще вздымалась грудь, точно море после сильного ветра, когда на сцене появился наконец хозяин.

— Что за чертовщина? — спросил он и так на меня поглядел, что я едва сдержался, обозленный столь негостеприимным обращением.

— Чертовщина и есть, — проворчал я. — В стаде одержимых евангельских свиней злой дух едва ли был так силен, как в этих ваших собаках, сэра. Оставить с ними гостя все равно что бросить его в тигриное логово!

— Они никогда не тронут человека, если он сам ничего не тронет, — заметил хозяин, ставя предо мною бутылку и водворяя на место сдвинутый стол. — Собакам положено быть настороже. Стакан вина?

— Нет, благодарю.

— Не покусали?

— Когда бы так, я отметил бы укусившего своей печатью.

Черты Хитклифа смягчились в усмешке.

— Ну-ну, — сказал он, — вы разволновались, мистер Локвуд. Выпейте стаканчик вина. Гости в этом доме такая редкость, что ни сам я, ни мои собаки, признаюсь, не умеем их принимать. За ваше здоровье, сэр!

Я поклонился и ответил «за ваше!» — сообразив, что было бы глупо сидеть и дуться на неучтивость собачьей своры. Да и не хотелось мне доставить хозяину лишний повод позабавиться на мой счет, если придет ему такая охота. Он же, уступая, вероятно, мудрому соображению, что неразумно оскорблять выгодного жильца, предпочел изменить своему лаконическому стилю — с пропуском личных местоимений и глагольных связок — и завел речь о предмете, который считал для меня занимательным: о достоинствах и недостатках избранного мною места уединения. Я нашел его очень сведущим в затронутом нами вопросе и перед тем, как уйти, решил по собственному почину объявить, что завтра зайду опять. Он, как видно, вовсе не желал вторичного вторжения. Тем не менее я приду. Удивительно, каким общительным кажусь я сам себе по сравнению с ним!

ГЛАВА II

Вчера к полудню стало холодно и сыро. Я уже почти решил, что лучше посидеть у камина в своем кабинете, чем брести по бездорожью, по слякоти на Грозовой Перевал. Однако, когда я, отобедав (кстати, замечу, я обедаю в первом часу; ключница, почтенная матрона, которую мне сдали вместе с домом, как его неотъемлемую принадлежность, не может или не хочет понять мою просьбу, чтобы обед подавали мне в пять), поднялся наверх в ленивом этом намеренье и хотел уже войти

в свою комнату, — я увидел горничную, которая, стоя на коленях среди щеток и корзин для угля, развела адский чад, стараясь загасить огонь кучей пепла. Это заставило меня тотчас повернуть назад; я взял шляпу и, отшагав четыре мили, подошел к воротам в сад Хитклифа как раз вовремя: падали уже первые перистые хлопья снега.

Здесь, на голой вершине холма, земля затвердела от ранних бесснежных морозов, и холодный ветер пронизывал меня насквозь. Сколько я ни напирал, цепь не подавалась, и я, перескочив через забор, пробежал мощеную дорожку, окаймленную редкими кустами крыжовника, и тщетно стучал в дверь, пока мне не свело пальцы и собаки не подняли вой.

«Проклятый дом, — сказал я мысленно. — Его обитатели так негостеприимны, такие невежи, что их стоило бы на всю жизнь засадить в одиночку. Я, во всяком случае, не стал бы днем держать дверь на запоре. Но все равно я войду!» С таким решением я взялся за щеколду и стал изо всей силы трясти дверь. Джозеф высунулся в круглое оконце сарая, показав свое кислое, как уксус, лицо.

— Чего вам? — закричал он. — Хозяин там, на овчарне. Пройдите кругом в конец двора, если у вас к нему дело.

— Есть кто-нибудь в доме, кто мог бы открыть дверь? — прокричал я в свой черед.

— Никого нет, одна хозяйка. А она не откроет, хоть бы вы тут до ночи грохотали.

— Почему? Вы, может быть, скажете ей, кто я такой, Джозеф?

— Ну уж нет! Не стану я путаться в это дело, — пробурчал он, и голова исчезла.

Снег падал густо. Я схватился за ручку двери в новой попытке, когда на заднем дворе показался молодой человек без пальто и с вилами на плече. Он прокричал мне, чтоб я следовал за ним, и, пройдя через прачечную и мощный двор с сараем для угля, водокачкой и голубятней,

мы наконец вошли в просторную, теплую и приветливую комнату, где меня принимали накануне. Ее весело озарял пылавший в очаге костер из угля, торфа и дров; а у стола, накрытого к обильному ужину, я с удовольствием увидел «хозяйку» — особу, о существовании которой я раньше и не подозревал. Я поклонился и ждал, полагая, что она предложит мне сесть. Она смотрела на меня, откинувшись на спинку кресла, и не двигалась, не говорила.

— Скверная погода! — сказал я. — Боюсь, миссис Хитклиф, не пострадала ли ваша дверь из-за нерадивости слуг: мне пришлось изрядно потрудиться, пока меня услышали.

Она и тут промолчала. Я глядел на нее, она глядела на меня — во всяком случае, остановила на мне холодный невидящий взгляд, от которого мне стало до крайности не по себе.

— Садитесь, — буркнул молодой человек. — Он скоро придет.

Я подчинился; кашлянул, окликнул негодницу Юону, которая соизволила при этом повторном свидании пошевелить кончиком хвоста, показывая, что признает во мне знакомого.

— Отличная собака! — я начал снова. — Не думаете ли вы раздать щенят, сударыня?

— Они не мои, — молвила любезная хозяйка таким отстраняющим тоном, каким не ответил бы и сам Хитклиф.

— Ага, вот это, верно, ваши любимцы? — продолжал я, указывая на кресло в темном углу, где, как мне показалось, сидели кошки.

— Станный предмет любви, — заметила она с презрением.

Там, как на грех, оказались сваленные в кучу битые кролики. Я еще раз кашлянул и, ближе подсев к очагу, повторил свое замечание о дурной погоде.

— Вам не следовало выходить из дому, — сказала она и, встав, сняла с камина две яркие жестянки.

До сих пор она сидела в полумраке; теперь же я мог разглядеть всю ее фигуру и лицо. Она была тоненькая и совсем юная, почти девочка — удивительного сложения и с таким прелестным личиком, какого мне еще не доводилось видеть: мелкие черты, необычайно изящные; льняные кольца волос, или скорей золотые, падали, несобранные, на стройную шею; а глаза, если бы глядели приветливей, были бы неотразимы; к счастью для моего впечатлительного сердца, я прочел в них только нечто похожее на презрение и вместе с тем на безнадежность, странно неестественную в ее возрасте. Чайницы стояли слишком высоко, она едва могла дотянуться до них; я сделал движение, чтобы ей помочь; она повернулась ко мне, как повернулся бы скупец, если бы кто-нибудь сунулся ему помогать, когда он считает свое золото.

— Мне не нужно вашей помощи, — огрызнулась она, — сама достану.

— Прошу извинения, — поспешил я ответить.

— Вас приглашали к чаю? — спросила она, повязывая фартук поверх милого черного платья, и остановилась с ложкой чая над котелком.

— Я не отказался бы от чашки, — ответил я.

— Вас приглашали? — повторила она.

— Нет, — сказал я с легкой улыбкой. — Вам как раз и подобало бы меня пригласить.

Она бросила ложку с чаем обратно в чайницу и с обиженным видом снова уселась; на лбу наметились морщины, румяная нижняя губа выпятилась, как у ребенка, который вот-вот заплачет.

Между тем молодой человек набросил на плечи совсем изношенный кафтан и, выпрямившись во весь рост перед огнем, глядел на меня искоса сверху вниз — ну, право же, точно была между нами кровная вражда, неотомщенная обида. Я не мог понять — слуга он или кто?

И одежда его и разговор были грубы и не выдавали, как у мистера и миссис Хитклиф, принадлежности к более высокому сословию; густые русые кудри его свисали лохматые, нечесанные щеки по-мужицки заросли бакенбардами, а руки были у него загорелые, как у простого работника; но держался он свободно, почти высокомерно, и не проявлял рвения слуги перед хозяйкой дома. Не видя явных признаков, по которым я мог бы судить, какое место занимает он в доме, я почел за лучшее не замечать его странного поведения; а через пять минут явился Хитклиф, и я почувствовал себя не так неловко.

— Как видите, сэр, я пришел, как обещал! — воскликнул я с напускной веселостью. — И боюсь, мне придется посидеть у вас полчаса, если вы предоставите мне на это время пристанище от непогоды.

— Полчаса? — сказал он, стяхивая белые хлопья со своей одежды. — Удивляюсь, почему вам вздумалось гулять в самый разгар бурана. Знаете ли вы, что рисковали заблудиться на болоте? Даже людям, хорошо знакомым с местностью, в такие вечера случается сбиться с дороги; а сейчас, доложу вам, нельзя рассчитывать на быструю перемену погоды.

— Не дадите ли вы мне в проводники какого-нибудь паренька? А заночевал бы он на Мызе. Вы не можете отпустить со мной кого-нибудь из работников?

— Не могу.

— Нет, в самом деле? Что ж, придется мне положиться на собственное разумение.

— Гм! Когда же мы наконец сядем чай пить? — крикнул он парню в потрепанном кафтане, бросавшему попеременно свирепый взгляд то на меня, то на молодую хозяйку.

— Он тоже будет пить? — спросила та, обратившись к Хитклифу.

— Извольте подавать на стол, — прозвучало в ответ, и так яростно, что меня передернуло. Тон, каким

сказаны были эти слова, избличал прирожденную злобность нрава. Теперь я уже не назвал бы Хитклифа превосходным человеком. Когда все было приготовлено, он пригласил меня к столу, сказав: «Ну, сэр, придвигайте ваш стул». Мы все, не исключая деревенского парня, сели за стол и в строгом молчании принялись за ужин.

Я полагал своим долгом, раз уж я навел тучу, как-нибудь ее рассеять. Не могли же они изо дня в день сидеть так угрюмо и молчаливо. Казалось невыносимым, чтобы люди, как ни дурен их нрав, могли изо дня в день сходить за столом с такими сердитыми лицами.

— Странно, — начал я, жадно выпив первую чашку и ожидая, когда мне нальют вторую, — странно, до чего привычка меняет наши вкусы и понятия: иной человек даже и вообразить не в состоянии, что можно быть счастливым, живя в таком полном отрешении от мира, как живете вы, мистер Хитклиф. Да, я сказал бы, что вы, в кругу своей семьи, с вашей любезной леди, чей гений правит вашим домом и вашим сердцем...

— Моей любезной леди! — перебил он с усмешкой чуть не дьявольской. — Где она, моя любезная леди?

— Я имел в виду миссис Хитклиф, вашу супругу.

— О, превосходно! Вы хотели сказать, что ее дух взял на себя роль ангела-хранителя и оберегает благополучие Грозового Перевала теперь, когда ее тело покоится в земле! Не так ли?

Поняв, что оплошал, я попытался поправить промах. Мне бы следовало сообразить, что при такой разнице в возрасте эти двое едва ли были мужем и женой. Ему лет сорок, пора расцвета духовных сил, когда мужчина редко обольщается надеждой, что девушка пойдет за него по любви: эта мечта становится утехой наших преклонных лет. А той с виду семнадцать.

Тут меня осенило: верно, этот деревенщина, что сидит со мною рядом, прихлебывает чай из блюдца и берет

хлеб немытыми руками, — ее муж. Хитклиф-младший, конечно! Похоронили себя заживо, и вот последствия: девушка бросилась на шею этому мужлану, попросту не зная, что есть на свете люди получше! И жалко и грустно! Нетрудно понять, как сильно должна была она пожалеть о своем выборе, увидев меня! Эта мысль покажется, верно, самонадеянной, но нет, такую она не была. Мой сосед представлялся мне почти отталкивающим; о себе же я знал по опыту, что я довольно привлекателен.

— Миссис Хитклиф приходится мне невесткой, — сказал Хитклиф, подтверждая мою догадку. При этих словах он метнул странный взгляд в ее сторону — взгляд ненависти; или мышцы его лица устроены иначе, чем у всех людей, и не передают языка души.

— Разумеется, теперь я вижу. Это вы — счастливый обладатель благотельницы-феи, — заметил я, поворачиваясь к своему соседу.

Ошибка оказалась хуже прежней: юноша побагровел, сжал кулак с явным намерением пустить его в ход. Но, видимо, одумался и отвел душу, разразившись грубой руганью по моему адресу — которую, однако, я предпочел пропустить мимо ушей.

— Не везет вам с догадками, сэр, — проговорил хозяин, — ни один из нас не имеет счастья обладать вашей доброй феей; ее супруг умер. Я сказал, что она моя невестка; значит, она была замужем за моим сыном.

— А этот молодой человек...

— Не сын мой, конечно.

Хитклиф опять улыбнулся, словно было слишком смелой шуткой — навязать этого медведя ему в сыновья.

— Меня зовут Гэртон Эрншо, — рявкнул юноша, — и советую вам уважать это имя!

— Я отнюдь не выказал неуважения, — сказал я в ответ, посмеявшись в душе над тем, с каким достоинством доложил он о своей особе.

Он глядел на меня слишком долго — я не счел нужным выдерживать его взгляд, боясь, что уступлю искушению отпустить ему пощечину или же громко рассмеяться. Я чувствовал себя решительно не на месте в этом милом семейном кругу. Гнетущая атмосфера дома сводила на нет доброе действие тепла и уюта, и я решил быть осторожней и не забредать под эту крышу в третий раз.

С ужином покончили, и, так как никто не проронил ни слова, чтоб завязать разговор, я встал и подошел к окну — посмотреть, не переменялась ли погода. Печальная была картина: темная ночь наступила до времени, смешав небо и холмы в ожесточенном кружении ветра и душащего снега.

— Вряд ли я доберусь до дому без проводника, — вырвалось у меня. — Дороги, верно, совсем замело; но даже если б они были расчищены, едва ли я хоть что-нибудь увидел бы на шаг впереди.

— Гэртон, загони овец под навес. Их засыплет, если оставить их на всю ночь в овчарне. А выход загороди доской, — сказал Хитклиф.

— Как же мне быть? — продолжал я с нарастающим раздражением.

Ответа не последовало; и я, оглядевшись, увидел только Джозефа, несшего собакам ведро овсянки, и миссис Хитклиф, которая склонилась над огнем и развлекалась тем, что жгла спички из коробка, упавшего с камина, когда она водворяла на место чайницу. Джозеф, поставив свою ношу, обвел осуждающим взглядом комнату и надтреснутым голосом проскрипел:

— Диву даюсь, что вы себе воображаете: вы будете тут сидеть без дела или баловаться, когда все работают на дворе! Но вы праздны, как все бездельники, вам говори, не говори, вы никогда не отстанете от дурных обычаев и пойдете прямой дорогой к дьяволу, как пошла ваша мать!

Я подумал было, что этот образчик красноречия адресован ко мне; и, достаточно уже взбешенный, двинулся на старого негодника с намереньем вышвырнуть его за дверь. Но ответ миссис Хитклиф остановил меня.

— Ты, старый лицемер и клеветник! — вскинулась она. — А не боишься ты, что всякий раз, как ты поминаешь дьявола, он может утащить тебя живьем. Ты лучше меня не раздражай, старик, или я испрошу для тебя его особой милости, и он заберет тебя к себе. Стой! Глянь сюда, Джозеф, — продолжала она, доставая с полки узкую продолговатую книгу в темном переплете, — я покажу тебе, как я далеко продвинулась в черной магии: скоро я буду в ней, как дома. Не случайно околела красно-бурая корова. И приступы ревматизма едва ли посылаются тебе, как дар божий!

— Ох, грешница, грешница! — закричал старик. — Избави нас господь от лукавого!

— Нет, нечестивец! Ты — отверженный! Отыди, или я наведу на тебя порчу! Я на каждого из вас сделала слепки из воска и глины. Первый, кто преступит наметенную мною границу, будет... нет, я не скажу, на что он у меня осужден, это вы увидите сами! Иди прочь — я на тебя гляжу!

Красивые глаза маленькой ведьмы засверкали приторной злобой, и Джозеф, затрепетав в неподдельном ужасе, поспешил прочь, бормоча на ходу молитвы и выкрикивая: «Грешница, грешница!» Я думал, что ее поведение было своего рода мрачной забавой; и теперь, когда мы остались вдвоем, попробовал поискать у нее сочувствия в моей беде.

— Миссис Хитклиф, — начал я серьезно, — извините, что я вас тревожу. Я беру на себя эту смелость, так как уверен, что при такой наружности вы непременно должны обладать добрым сердцем. Укажите же мне, по каким приметам я найду дорогу. Как мне добраться до

дому, я представляю себе не яснее, чем вы, как дойти до Лондона!

— Ступайте той дорогой, которой пришли, — ответила она, спрятавшись в своем кресле со свечою и с раскрытой толстой книгой на коленях. — Совет короткий, но более разумного я вам дать не могу.

— Значит, если вы услышите, что меня нашли мертвым в трясине или в яме, занесенной снегом, ваша совесть не шепнет вам, что в моей смерти повинны отчасти и вы?

— Ничуть. Я не могу проводить вас. Мне не дадут пройти и до конца ограды.

— Вы? Я не посмел бы вас просить выйти ради меня даже за порог в такую ночь! — вскричал я. — Я прошу вас разъяснить мне, как найти дорогу, а не показать ее; или же убедить мистера Хитклифа, чтоб он дал мне кого-нибудь в проводники.

— Кого? Здесь только он сам, Эрншо, Зилла, Джозеф и я. Кого вы предпочтете?

— А нет на ферме какого-нибудь мальчишки?

— Нет. Я всех назвала.

— Значит, я вынужден заночевать здесь.

— Об этом договаривайтесь с хозяином дома. Я тут ни при чем.

— Надеюсь, это вам послужит уроком. Не будете впредь пускаться в неосторожные прогулки по горам, — прокричал строгий голос Хитклифа с порога кухни. — Если вам тут ночевать, так у меня не заведено никаких удобств для гостей. Вам придется разделить постель с Гэртоном или Джозефом, если вы остаетесь.

— Я могу соснуть в кресле в этой комнате, — ответил я.

— Нет, нет! Чужой всегда чужой, беден он или богат, и меня не устраивает, чтобы кто-то тут рыскал, когда я не могу оставаться за сторожа! — заявил неучтивый хозяин.

Эти оскорбительные слова положили конец моему терпению. Я что-то сказал, выражая свое возмущение, бросился мимо хозяина во двор — и с разгону налетел на Эрншо. Было так темно, что я ничего не видел; и пока я блуждал, ища выхода, я услышал кое-что еще, что могло служить образцом их вежливого обращения друг с другом. Сперва молодой человек, по-видимому, склонен был помочь мне.

— Я провожу его до парка, — сказал он.

— Ты проводишь его до пекла! — вскричал его хозяин или кем он там ему был. — А кто присмотрит за лошадьми?

— Когда дело идет о человеческой жизни, можно ради нее на один вечер оставить лошадей без присмотра: кто-нибудь должен пойти, — вступилась миссис Хитклиф дружелюбней, чем я ожидал.

— Но не по вашему приказу! — отрезал Гэртон. — Если он вам так мил, лучше помалкивайте.

— Что же, я надеюсь, вам будет являться его призрак. И еще я надеюсь, мистер Хитклиф не получит другого жильца, пока Мыза Скворцов не превратится в развалины! — ответила она резко.

— Слушай, слушай, она проклинает! — бормотал Джозеф, о которого я чуть не споткнулся.

Старик сидел неподалеку и доил коров при свете фонаря, который я не постеснялся схватить; и, крикнув, что завтра пришлю им фонарь, я устремился к ближайшей калитке.

— Хозяин, хозяин! Он украл фонарь! — заорал старик и кинулся за мной вдогонку. — Эй, Клык, собачка моя! Эй, Волк! Держи его, держи!

Едва я отворил калитку, два косматых чудища зашелкали зубами, подбираясь к моему горлу, и сбили меня с ног — свет погас, а дружный хохот Хитклифа и Гэртона довел до предела бешенство мое и унижение. К счастью, псы больше склонны были, наложив свои

лапы на жертву, выть и махать хвостами, чем пожирать ее живьем; однако встать на ноги они мне не давали, и пришлось мне лежать до тех пор, пока их злорадствующие хозяева не соизволили меня освободить. Наконец, без шляпы, дрожа от ярости, я приказал мерзавцам выпустить меня немедленно, если им не надоела жизнь, — и сопроводил эти слова бессвязными угрозами, которые своею беспредельной злобой и горечью напоминали проклятия Лира.

От слишком сильного возбуждения у меня хлынула из носу кровь, но Хитклиф не переставал хохотать, а я ругаться. Не знаю, чем завершилась бы эта сцена, не случись тут особы, более рассудительной, чем я, и более благодушной, чем мои противники. Это была Зилла, дородная ключница, которая вышла наконец узнать, что там у нас творится. Она подумала, что кто-то поднял на меня руку; и, не смея напасть на хозяина, обратила огонь своей словесной артиллерии на младшего из двух негодяев.

— Прекрасно, мистер Эрншо! — кричала она. — Уж не знаю, что вы еще придумаете! Скоро мы станем убивать людей у нашего порога. Вижу я, не ужиться мне в этом доме — посмотрите на беднягу, он же еле дышит! Ну-ну! Нельзя вам идти в таком виде. Зайдите в дом, я помогу вам. Тихонько, стойте смирно.

С этими словами она вдруг выплеснула мне за ворот кружку ледяной воды и потащила меня в кухню. Мистер Хитклиф последовал за нами. Непривычная вспышка веселости быстро угасла, сменившись обычной для него угрюмостью.

Меня мутило, кружилась голова, я совсем ослабел, пришлось поневоле согласиться провести ночь под его крышей. Он велел Зилле дать мне стакан водки и прошел в комнаты; а ключница, повздыхав надо мной и выполнив приказ, после чего я несколько оживился, повела меня спать.

ГЛАВА III

Подымаясь со мной по лестнице, она мне наказала прикрыть ладонью свечу и не шуметь, потому что у ее хозяина какая-то дикая причуда насчет комнаты, в которую она меня ведет, и он никого бы туда не пустил по своей охоте. Я спросил почему. Она ответила, что не знает: в доме она только второй год, а у них тут так все не по-людски, что лучше ей не приставать с расспросами.

Слишком ошеломленный для расспросов, я запер дверь и огляделся, ища кровать. Всю обстановку составляли стул, комод и большой дубовый ларь с квадратными прорезями под самой крышкой, похожими на оконца кареты. Подойдя к этому сооружению, я заглянул внутрь и увидел, что это особого вида старинное ложе, как нельзя более приспособленное к тому, чтобы устранить необходимость отдельной комнаты для каждого члена семьи. В самом деле, оно образовало своего рода чуланчик, а подоконник заключенного в нем большого окна мог служить столом. Я раздвинул обшитые панелями боковые стенки, вошел со свечой, снова задвинул их и почувствовал себя надежно укрытым от бдительности Хитклифа или чьей бы то ни было еще.

На подоконнике, где я установил свечу, лежала в одном углу стопка тронутых плесенью книг; и весь он был покрыт надписями, нацарапанными по краске. Впрочем, эти надписи, сделанные то крупными, то мелкими буквами, сводились к повторению одного лишь имени: Кэтрин Эрншо, иногда сменявшегося на Кэтрин Хитклиф и затем на Кэтрин Линтон.

В вялом равнодушии я прижался лбом к окну и все перечитывал и перечитывал: Кэтрин Эрншо... Хитклиф... Линтон, — пока глаза мои не сомкнулись; но они не отдохнули и пяти минут, когда вспышкой пламени выступили из мрака белые буквы, живые, как ви-

дения, — воздух кишел бесчисленными Кэтрин; и, сам себя разбудив, чтоб отогнать навязчивое имя, я увидел, что огонь моей свечи лижет одну из тех старых книг и в воздухе разлился запах жженой телячьей кожи. Я оправил фитиль и, чувствуя себя крайне неприятно от холода и неотступной тошноты, сел в подушках и раскрыл на коленях поврежденный том. Это было Евангелие с поблекшей печатью и сильно отдававшее плесенью. На титульном листе стояла надпись: «Из книг Кэтрин Эрншо» — и число, указывавшее на четверть века назад. Я захлопнул ее и взял другую книгу и третью — пока не пересмотрел их все до единой. Библиотека Кэтрин была со вкусом подобрана, а потрепанное состояние книг доказывало, что ими изрядно пользовались, хотя и не совсем по прямому назначению: едва ли хоть одна глава избежала чернильных и карандашных заметок или того, что походило на заметки, покрывавшие каждый пробел, оставленный наборщиком. Иные представляли собою отрывочные замечания; другие принимали форму регулярного дневника, писанного неустановившимся детским почерком. Сверху на одной из пустых страниц (показавшихся, верно, неоценимым сокровищем, когда на нее натолкнулись впервые) я не без удовольствия увидел превосходную карикатуру на моего друга Джозефа — набросанную бегло, но выразительно. Во мне зажегся живой интерес к неведомой Кэтрин, и я тут же начал расшифровывать ее поблекшие иероглифы.

«Страшное воскресенье! — так начинался следующий параграф. — Как бы я хотела, чтобы снова был со мной отец. Хиндли — плохая замена, он жесток с Хитклифом. Мы с Х. договорились взбунтоваться — и сегодня вечером сделали решительный шаг.

Весь день лило; мы не могли пойти в церковь, так что Джозефу волей-неволей пришлось устроить молитвенное собрание на чердаке; и пока Хиндли с женой в свое удовольствие грелись внизу у огня — и делали при этом

что угодно, только не читали Библию, могу в том поручиться, — нам с Хитклифом и несчастному мальчишке-пахарю велено было взять молитвенники и лезть наверх; нас посадили рядом на мешке пшеницы, и мы вздыхали и мерзли, надеясь, что Джозеф тоже замерзнет и ради собственного блага прочтет нам не слишком длинную проповедь. Пустая надежда! Служба тянулась ровно три часа; и все-таки мой брат не постыдился воскликнуть, когда мы сошли вниз: «Как, уже?» Прежде в воскресные вечера нам разрешалось поиграть — только бы мы не очень шумели; а теперь достаточно тихонько засмеяться, и нас сейчас же ставят в угол!

— Вы забываете, что над вами есть хозяин, — говорит наш тиран. — Я сотру в порошок первого, кто выведет меня из терпения! Я требую тишины и приличия. Эге, мальчик, это ты? Фрэнсиз, голубушка, оттакай его за вихры, когда будешь проходить мимо: я слышал, как он хрустнул пальцами. — Фрэнсиз добросовестно выдрала его за волосы, а потом подошла к мужу и села к нему на колени; и они целый час, как двое малых ребят, целовались и говорили всякий вздор — нам было бы стыдно так глупо болтать. Мы устроились поудобней, насколько это было возможно: забились в углубление под полками. Только я успела связать наши фартуки и повесить их вместо занавески, как приходит Джозеф из конюшни, куда его зачем-то посылали. Он сорвал мою занавеску, влепил мне пощечину и закаркал:

— Хозяина едва похоронили, еще не прошел день субботный, и слова Евангелия еще звучат в ваших ушах, а вы тут лоботрясничаете! Стыдно вам! Садитесь, скверные дети! Мало тут разве хороших книг? Взяли бы да почитали! Садитесь и подумайте о ваших душах!

С этими словами он усадил нас немного поближе к очагу, так что слабый отсвет огня еле освещал страницу той дряни, которую он сунул нам в руки. Я не могла долго сидеть за таким занятием: взяла свой пакостный

том за застежку и кинула его в собачий закут, заявив, что мне не нравятся хорошие книги. Хитклиф пинком зашвырнул свою туда же. И тут пошло...

— Мистер Хиндли! — вопил наш духовный наставник. — Идите сюда, хозяин! Мисс Кэти отодрала корешок у «Кормила спасения», а Хитклиф ступил ногой на первую часть «Прямого пути к погибели»! Это просто ужас, что вы позволяете им идти такой дорожкой. Эх! Старый хозяин отстегал бы их как следует — но его уж нет!

Хиндли покинул свой рай у камина и, схватив нас одного за шиворот, другого за руку, вытолкал обоих в кухню, где Джозеф поклялся, что «Старый Ник»¹, как бог свят, уволочет нас в пекло. С таким утешительным напутствием мы забились каждый в свой угол, ожидая, когда явится за нами черт. Я достала с полки эту книгу и чернильницу, распахнула дверь во двор (так светлей) и минут двадцать писала, чтобы как-нибудь убить время; но мой товарищ не так терпелив и предлагает завладеть салопом коровницы, накрыться им и пойти бродить по вересковым зарослям. Хорошая мысль: если старый ворчун вернется, он подумает, что сбылось его прорицание, а нам и под дождем будет не хуже, чем дома: здесь тоже и холодно и сыро».

* * *

По всей видимости, Кэтрин исполнила свое намерение, потому что следующие строки повествуют о другом: девочка раздражается слезами.

«Не думала я, что Хиндли когда-нибудь заставит меня так плакать, — писала она. — Голова до того болит, что я не в силах держать ее на подушке; и все-таки не могу я отступить. Бедный Хитклиф! Хиндли называет его бродягой и больше не позволяет ему сидеть

¹ Черт, домовый.

с нами и с нами есть; и он говорит, что я не должна с ним играть, и грозитя выкинуть его из дому, если мы слушаемся. Он все время ругает нашего отца (как он смеет!), что тот давал Хитклифу слишком много воли, и клянется, что «поставит мальчишку на место».

* * *

Я подремывал над выцветшей страницей; глаза мои скользили с рукописного текста на печатный. Я видел красный витиеватый титул — «Седмидесятью Семь и Первое из Седмидесяти Первых. — Благочестивое слово, произнесенное преподобным Джебсом Брендерхэмом в Гиммерденской церкви». И, в полусне ломая голову над вопросом, как разовьет Джебс Брендерхэм свою тему, я откинулся на подушки и заснул. Увы, вот оно действие скверного чая и скверного расположения духа! Если не они, то что же еще могло так испортить мне ночь? С тех пор как я научился страдать, не припомню я ночи, которая сравнилась бы с этой.

Я еще не забыл, где я, когда мне уже начал сниться сон. Мне казалось, что настало утро и что я иду домой, а проводником со мной — Джозеф; снег на дороге лежит в ярд толщиной; и пока мы пробираемся кое-как вперед, мой спутник донимает меня упреками, что я не позаботился взять с собою посох пилигрима: без посоха, говорит он, я никогда не войду в дом; а сам кичливо размахивает дубинкой с тяжелым набалдашником, которая, как я понимал, именуется посохом пилигрима. Минутами мне представлялось нелепым, что мне необходимо такое оружие, чтобы попасть в собственное жилище. И тогда явилась у меня новая мысль: я иду вовсе не домой, мы пустились в путь, чтобы послушать проповедь знаменитого Джебса Брендерхэма на текст «Седмидесятью Семь», и кто-то из нас — не то Джозеф, не то проповедник, не то я сам — совершил «Первое из

Седмидесяти Первых» и подлежит всенародному осуждению и отлучению.

Мы приходим в церковь. Я в самом деле два или три раза проходил мимо нее в своих прогулках: она стоит в ложбине между двумя холмами, идущей вверх от болота, торфяная сырость которого действует, говорят, как средство бальзамирования на те немногие трупы, что зарыты на погосте. Крыша пока в сохранности; но так как викарий может рассчитывать здесь только на двадцать фунтов жалованья *per annum*¹ и на домик в две комнаты, которые грозят быстро превратиться в одну, никто из духовных лиц не желает взять на себя в этой глуши обязанности пастыря, тем более что его прихожане, если верить молве, скорее дадут своему священнику помереть с голоду, чем увеличат его доходы хоть на пенни из собственных карманов. Однако в моем сне церковь была битком набита, и слушали Джебса внимательно; а проповедовал он — о боже, что за проповедь! Она подразделялась на четыреста девяносто частей, из которых каждая была никак не меньше обычного обращения с церковной кафедрой, и в каждой обсуждался особый грех! Где он их столько выискал, не могу сказать. Он придерживался своего собственного толкования слова «грех», и казалось, брат во Христе по каждому отдельному случаю необходимо должен был совершать специальный грех. Грехи были самого необычного свойства: странные провинности, каких я раньше никогда бы не измыслил.

О, как я устал! Как я морщился и зевал, клевал носом и снова приходил в себя! Я щипал себя, и колол, и протирал глаза, и вставал со скамьи, и опять садился, и подталкивал Джозефа локтем, спрашивая, кончится ли когда-нибудь эта проповедь. Я был осужден выслушать все; наконец проповедник добрался до «Первого из

¹ В год (*лат.*).

Седмидесяти Первых». В этот критический момент на меня вдруг нашло наитие; меня подмывало встать и объявить Джебса Брендерхэма виновным в таком грехе, какого не обязан прощать ни один христианин.

— Сэр! — воскликнул я. — Сидя здесь в четырех стенах, я в один присест претерпел и простил четыреста девяносто глав вашей речи. Седмидесять семь раз я надевал шляпу и вставал, чтоб уйти, — вы седмидесятью семь раз почему-то заставляли меня сесть на место. Четыреста девяносто первая глава — это уж слишком! Сомученики мои, воздайте ему! Тащите его с кафедры и сотрите его в прах, чтобы там, где его знавали, забыли о нем навсегда.

— Так это ты! — воскликнул Джебс и, упершись в свою подушку, выдержал торжественную паузу. — Седмидесятью семь раз ты искажал зевотой лицо — седмидесятью семь раз я успокаивал свою совесть: «Увы, сие есть слабость человеческая, следственно, сие прегрешение может быть отпущено!» Но приходит Первое из Седмидесяти Первых. Вершите над ним, братья, предписанный суд! Чести сей удостоены все праведники божьи!

Едва раздались эти последние слова, собравшиеся, вознеся свои пилигримовы посохи, ринулись на меня со всех сторон; и я, не имея оружия, которое мог бы поднять в свою защиту, стал вырывать посох у Джозефа, ближайшего ко мне и самого свирепого из нападающих. В возникшей суতোлке скрестилось несколько дубинок. Удары, предназначенные мне, обрушивались на другие головы. И вот по всей церкви пошел гул ударов. Кто напал, кто защищался, но каждый поднял руку на соседа; а Брендерхэм, не пожелав оставаться праздным свидетелем, изливал свое рвение стуком по деревянному пюпитру, раздававшимся так гулко, что этот стук в конце концов, к моему несказанному облегчению, разбудил меня. И чем же был внушен мой сон о шумной схватке? Кто на деле исполнял роль, разыгранную в драке Джеб-

сом? Всего лишь ветка ели, касавшаяся окна и при порывах ветра царапавшая сухими шишками по стеклу! С минуту я недоверчиво прислушивался, но, обнаружив возмутителя тишины, повернулся на другой бок, задремал — и опять мне приснился сон, еще более неприятный, чем тот, если это возможно.

На этот раз я сознавал, что лежу в дубовом ящике или чулане, и отчетливо слышал бурные порывы ветра и свист метели; я слышал также неумолкавший назойливый скрип еловой ветки по стеклу и приписывал его действительной причине. Но скрип так докучал мне, что я решил прекратить его, если удастся; и я, мне снилось, встал и попробовал открыть окно. Крючок оказался припаян к кольцу: это я заметил, когда еще не спал, но потом забыл. «Все равно, я должен положить этому конец», — пробурчал я и, выдавив кулаком стекло, высунул руку, чтобы схватить нахальную ветвь; вместо нее мои пальцы сжались на пальчиках маленькой холодной, как лед, руки! Неистовый ужас кошмара нахлынул на меня; я пытался вытащить руку обратно, но пальчики вцепились в нее, и полный горчайшей печали голос рыдал: «Впустите меня... впусти-те!» — «Кто вы?» — спрашивал я, а сам между тем все силился освободиться. «Кэтрин Линтон, — трепетало в ответ (почему мне подумалось именно «Линтон»? Я двадцать раз прочитал «Эрншо» на каждое «Линтон!»). — Я пришла домой: я заблудилась в зарослях вереска!» Я слушал, смутно различая глядевшее в окошко детское личико. Страх сделал меня жестоким; и, убедившись в бесполезности попыток отшвырнуть незнакомку, я притянул кисть ее руки к пробойне в окне и тер ее о край разбитого стекла, пока не потекла кровь, заливая простыни; но гостья все стояла: «Впустите меня!» — и держалась все так же цепко, а я сходил с ума от страха. «Как мне вас впустить? — сказал я наконец. — Отпустите вы меня, если хотите, чтобы я вас выпустил!» Пальцы разжались, я выдернул свои в пробоину и, быстро загородив ее стопкой книг, зажал

уши, чтоб не слышать жалобного голоса просительницы. Я держал их зажатыми, верно, с четверть часа, и все же, как только я отнял ладони от ушей, послышался тот же плачущий зов! «Прочь! — закричал я. — Я вас не впущу, хотя бы вы тут просились двадцать лет!» — «Двадцать лет прошло, — стонал голос, — двадцать лет! Двадцать лет я скитаюсь, бездомная!» Затем послышалось легкое царапанье по стеклу, и стопка книг подалась, словно ее толкали снаружи. Я попытался вскочить, но не мог пошевелиться; и тут я громко закричал, обезумев от ужаса. К своему смущению, я понял, что крикнул не только во сне: торопливые шаги приближались к моей комнате; кто-то сильной рукой распахнул дверь, и в оконцах над изголовьем кровати замерцал свет. Я сидел, все еще дрожа, и отирал испарину со лба. Вошедший, видимо, колебался и что-то ворчал про себя. Наконец полушепотом, явно не ожидая ответа, он сказал:

— Здесь кто-нибудь есть?

Я почел за лучшее не скрывать своего присутствия, потому что я знал повадки Хитклифа и побоялся, что он станет продолжать поиски, если я промолчу. С этим намерением я повернул шпингалет и раздвинул фанерную стенку. Не скоро я забуду, какое действие произвел мой поступок.

Хитклиф стоял у порога в рубашке и панталонах; свеча оплывала ему на пальцы, а его лицо было бело, как стена за его спиной. При первом скрипе дубовых досок его передернуло, как от электрического тока; свеча, выскользнув из его руки, упала в нескольких футах, и так сильно было его волнение, что он едва смог поднять.

— Здесь только ваш гость, сэр! — вскричал я громко, желая избавить его от дальнейших унижительных проявлений трусости. — Я имел несчастье застонать во сне из-за страшного кошмара. Извините, я потревожил вас.

— Ох, проклятье на вашу голову, мистер Локвуд! Провалитесь вы к... — начал мой хозяин, устанавливая

свечу на стуле, потому что не мог держать ее крепко в руке. — А кто привел вас в эту комнату? — продолжал он, вонзая ногти в ладони и стиснув зубы, чтобы они не стучали в судороге. — Кто? Я сейчас же вышвырну их за порог!

— Меня привела сюда ваша ключница Зилла, — ответил я, вскочив на ноги и поспешно одеваясь. — И я не огорчусь, если вы ее и впрямь вышвырнете, мистер Хитклиф: это будет ей по заслугам. Она, видно, хотела, не щадя гостя, получить лишнее доказательство, что тут нечисто. Что ж, так оно и есть — комната кишит привидениями и чертями! Вы правы, что держите ее на запоре, уверяю вас. Никто вас не поблагодарит за ночлег в таком логове!

— Что вы хотите сказать? — спросил Хитклиф. — И зачем вы одеваетесь? Ложитесь и спите до утра, раз уж вы здесь. Но ради всего святого, не поднимайте опять такого страшного шума: вы кричали так, точно вам приставили к горлу нож!

— Если бы маленькая чертовка влезла в окно, она, верно, задушила бы меня! — возразил я. — Мне совсем не хочется снова подвергаться преследованию со стороны ваших гостеприимных предков. Не родственник ли вам с материнской стороны преподобный Джебс Брендерхэм? А эта проказница Кэтрин Линтон, или Эрншо, или как ее там звали, она, верно, из породы злых эльфов, эта маленькая злючка... Она сказала мне, что вот уже двадцать лет гуляет по земле — справедливая кара за ее грехи, не сомневаюсь!

Я не успел договорить, как вспомнил связь этих двух имен, Хитклифа и Кэтрин, в книге, — связь, которая ускользнула у меня из памяти и только теперь неожиданно всплыла. Я покраснел, устыдившись своей несообразительности, но, ничем не показывая больше, что осознал нанесенную мною обиду, поспешил добавить:

— По правде сказать, сэр, половину ночи я провел...

Тут я опять осекся — я чуть не сказал: «провел, перелистывая старые книги», — а этим я выдал бы свое знакомство не только с печатным, но и рукописным их содержанием; итак, не допуская новой оплошности, я добавил:

— ...перечитывая имена, нацарапанные на подоконнике. Однообразное занятие, к которому прибегаешь, чтобы нагнать сон, — как к счету или как...

— С чего вы вздумали вдруг говорить все это мне? — прогремел Хитклиф в дикой ярости. — Как... как вы смеете под мою крышей?.. Господи! Уж не сошел ли он с ума, что так говорит! — И Хитклиф в бешенстве ударил себя по лбу.

Я не знал, оскорбиться мне на его слова или продолжать свое объяснение; но он, казалось, был так глубоко потрясен, что я сжалился и стал рассказывать дальше свои сны. Я утверждал, что никогда до тех пор не слышал имени «Кэтрин Линтон»; но, прочитанное много раз, оно запечатлелось в уме, а потом, когда я утратил власть над своим воображением, воплотилось в образ. Хитклиф, пока я говорил, постепенно отодвигался в глубь кровати; под конец он сидел почти скрытый от глаз. Я угадывал, однако, по его неровному, прерывистому дыханию, что он силится превозмочь чрезмерное волнение. Не желая показывать ему, что слышу, как он борется с собой, я довольно шумно завершал свой туалет, поглядывал на часы и вслух рассуждал сам с собою о том, как долго тянется ночь.

— Еще нет и трех! А я поклялся бы, что не меньше шести. Время здесь точно стоит на месте: ведь мы разошлись по спальням часов в восемь?

— Зимой ложимся всегда в девять, встаем в четыре, — сказал хозяин, подавляя стон и, как мне показалось по движению тени от его руки, смахивая слезы с глаз. — Мистер Локвуд, — добавил он, — вы можете перейти в мою спальню; вы только наделаете хлопот, если так

рано сойдете вниз, а ваш дурацкий крик прогнал к черту мой сон.

— Мой тоже, — возразил я. — Лучше я погуляю во дворе до рассвета, а там уйду, и вам нечего опасаться моего нового вторжения. Я теперь вполне излечился от стремления искать удовольствия в обществе, будь то в городе или в деревне. Разумный человек должен довольствоваться тем обществом, которое являет он сам.

— Восхитительное общество! — проворчал Хитклиф. — Возьмите свечку и ступайте, куда вам угодно. Я сейчас же к вам присоединюсь. Впрочем, во двор не ходите, собаки спущены; а в доме держит стражу Юнона, так что... вы можете только слоняться по лестнице да по коридорам. Но все равно убирайтесь! Я приду через две минуты!

Я подчинился, но лишь наполовину — то есть оставил комнату; потом, не зная, куда ведут узкие сени, я остановился и стал невольным свидетелем поступка, который выдал суеверие моего хозяина, странно противоречившее его очевидному здравому смыслу: мистер Хитклиф подошел к кровати и раздвинул загородки, разразившись при этом неудержимыми страстными словами. «Приди! Приди! — рыдал он. — Кэти, приди! О, приди — еще хоть раз! Дорогая, любимая! Хоть сегодня, Кэтрин, услышь меня!» Призрак проявил обычное для призраков своеобразие: он не подал никаких признаков бытия; только снег и ветер ворвались бешеной закрутью, долетев до меня и задув свечу.

Такая тоска была в порыве горя, сопровождавшем этот бред, что сочувствие заставило меня простить его безрассудство, и я удалился, досадуя на то, что вообще позволил себе слушать, и в то же время виня себя, что рассказал про свой нелепый кошмар и этим вызвал такое терзание; Впрочем, причина оставалась для меня непонятной. Я осторожно сошел в нижний этаж и пробрался в кухню, где сгреб в кучу тлеющие угли и зажег

от них свою свечу. Ничто не шевелилось; только полосатая серая кошка выползла из золы и поздоровалась со мною сварливым «мяу».

Две полукруглые скамьи со спинками почти совсем отгораживали собою очаг; на одной из них я вытянулся сам, кошка забралась на другую. Мы оба дремали, пока никто не нарушал нашего уединения; потом приволокся Джозеф, спустившись по деревянной лестнице, которая исчезала за люком в потолке; лазейка на его чердак — решил я. Он бросил мрачный взгляд на слабый огонек, вызванный мною к жизни в очаге, согнал кошку со скамьи и, расположившись на освободившемся месте, приступил к процедуре набивания табаком своей трехдюймовой трубки. Мое присутствие в его святилище расценивалось, очевидно, как проявление наглости, слишком неприличной, чтоб ее замечать; он молча взял трубку в рот, скрестил руки на груди и затянулся. Я не мешал ему курить в свое удовольствие; выпустив последний клуб дыма и глубоко вздохнув, он встал и удалился так же торжественно, как вошел.

Послышались более упругие шаги; и я уже открыл рот, чтобы сказать «С добрым утром», но тут же закрыл его снова, так и не поздоровавшись: Гэртон Эрншо совершал *sotto voce*¹ свое утреннее молебствие, состоявшее в том, что он посылал к черту каждую вещь, попадавшую ему под руку, пока он шарил в углу, отыскивая лопату или заступ, чтоб расчистить заметенную дорогу. Он глядел через спинку скамьи, раздувая ноздри и столь же мало помышляя об обмене любезностями со мной, как с моею соседкой, кошкой. По его сборам я понял, что можно выйти из дому, и, покинув свое жесткое ложе, собрался последовать за парнем. Он это заметил и указал концом лопаты на дверь в столовую, давая понять нечленораздельными звуками, в какую сторону должен я идти, раз уж вздумал переменить место.

¹ Вполголоса (*um.*).